

24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уставлялся с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, — и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это — моя милая, томная, жгучая, неприступная, — она и т. д.

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе

Карамзина. Ведь только я один, припомилив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понятной и близкой, а для другого — я это отлично понимаю [край страницы оторван. — Е. Ч.].

25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу (98 или 99 г.): «...хочешь узнать, как я провожу время? — Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть Дух, но (!) в 3-х лицах, смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения... Потом завтракаю — почтительно выслушиваю от мамы, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным — дурно, что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору... Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца... В 2 часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в 4 приходит Кац, с ним мы читаем вместе, изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов и кто был отец Тургенева; узнаем, что литература — это зеркало; и, узнав все это, идем на житковскую лодку^{*1}, где катаемся почти ежедневно. Берем с собою Розенблост, Вольф, Кац, Зильберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи, сплю... Вот и все... Не правда ли, славно?»

А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника:

¹ Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги.

27 сентября 1898 г. «Странные вещи бывают на свете! Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем, все благополучно... Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались 3 фигуры — 2 гимназиста, а один — этак штатский как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся — гимназистов нет! Что за черт! Бегу обратно, бегу, т. к. прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гроссман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и спрашивает, где я сейчас был... „У Юзи...“ — „Врешь, — заорал Сеня, — ты провожал М...“ — „Да, провожал и объяснялся ей в любви“, — ответил я. „Нет, вы, наверно, философствовали о носовых платках, а впрочем, что ж? У Коли кровь молодая, играет, как вино искрометное“, — смеялся Даня...»

Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало.

Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет:

«Он не помнил, как это случилось, как это из религиозного мальчишка, встававшего в полночь для тайной молитвы [край страницы оторван. — Е. Ч.]. А тогда ему было не до смеху, тогда, помнится ему, он подсаживал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом — грешно, и он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие... Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мяса — он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти

улицу, — он уверен, что там, где-то наверху, кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние...

А теперь, теперь он с тоской жмет к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что...»

Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнее себя.

Дневник — громадная сила, — только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это, — я иду от Ф. ...Половина десятого. Я должен уйти, туда пришла она... Иду и смеюсь... Она, гордая и чужая, требует, чтобы я ушел немедленно, она близка мне, она понимает, сочувствует, любит, она вся во мне... Вот она идет со мною, она знает, как это натягивают шинель и хлюпают калошами по лужам, как это размахивают руками, как это говорят: до свиданья, господа! — она знает, эта суровая жидовка с нахмуренными бровями, она говорит мне: «или я, или ты», а это звучит для меня «милый, дорогой, близкий, понятный, и я, и ты», — о, если б ты имел силу удержать навсегда это, чтоб ни один кусочек сегодняшней жизни моей не ускользнул от тебя... Что там? «Монистический взгляд

на историю». Дивный монистический взгляд. Доня, шахматы, Ибсен, первые проблески весны, через 3 недели 19 лет, — все это годится для того, чтобы у меня лет через 20 вырвался крик зависти, щемящей зависти к самому себе. (Без 10 м. 10 ч.)

Продолжаю собирать клочки. В 14 лет я написал пародию на Лермонтова:

- 1) Когда весь класс волнуется, как нива,
Учитель уж дошел до буквы К;
Как в саду малиновая слива
Спину соученика
- 2) Когда глаза обращены в бумагу,
А сам я жду, когда бы поскорей
Наш страж порядка, наш Фаддей,
Пролепетал звонком таинственную сагу.

(оборвано) не помню. Конец такой:

Тогда-то, чуть задремлет звонок,
Смирятся души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе.
Тогда благодарю сердечно Бога,
И пятки лишь мои сверкают по земле.

27 февраля. Утром в 6 часов был у Вельчева, давал урок. Буду делать так каждый день. Сильный южный ветер. За тучами солнца не видать, но оно чувствуется. Если бы я был поэтом, я сказал бы: так я, не видя Маши, чувствую ее. Сегодня вторник, вечером лекция. Я в десять часов встречу ее на ее крыльце и скажу ей: у тебя домоседские, семейственные наклонности. Ты живо и сильно привязываешься к людям... Тебе будут мои метанья не по сердцу. Тебе будет скучно по всем, кого я здесь брошу без капли жалости. Я тебе наскучу своими книжками да болтовней... Вот 3 вещи, которые ужасают меня. Скажи, что это не так; но если это так,

что тогда? Не отнимай у меня опять моих надежд... Не отвечай мне ничего. Тогда... что тогда?.. Детко мое!

Буду продолжать свою «лекцию». В 4 часа пойду к Лизе и попрошу ее научить меня шить. Она хотела, чтобы я стал ее расспрашивать, почему ей нужно, чтобы мы расстались. В этом кокетстве много искренности, но теперь меня интересует одно — чтоб она научила меня шить.

Что это такое? На меня иногда находит такой столбняк, что я ни одной мысли самой простой не могу выразить.

Теперь 10 м. 5-го. К Лизе не пошел, «лекции» не писал, а разбрасывал снег, царапал себе лицо и бегал за молоком.

Уже больше 3-х лет не было у меня такой пустоты, как сейчас. Интеллектуальной жизни для меня почти не существует. Страдать от какой-нб. идеи, от «теории» я теперь не умею. Пропала и потребность в этих идеях и теориях. И я догадываюсь почему. За 2 эти месяца вокруг меня только и делалось, что спрягались слова «любить», «ненавидеть», «презирать»; писались длинные письма, содержание которых я забывал через 2 минуты, в товарищах у меня оказалось такое пустое место, как Митницкий, — и вот результаты. Ну ничего, авось с Машкой догоним!

Вот стихотворенье, которое я написал ей год тому назад (а впрочем, потом). Пустота, пустота и пустота. Буря бы грянула, что ли!*

Все мысли, какие приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательны, — мышление не доставляет, как прежде, удовольствия... Хорошая книга не радует, да и забыл я, какую книгу называл прежде хорошей. Раньше, когда находили на меня такие настроения, я их утилизировал, извлекал из них наслаждение, — я носился с ними, гордился, миндальничал, а теперь — просто бессилие, и больше ничего. Вот даже дневника

не могу вести. Теперь бы пошел я к М. Дернул бы ручку. Подождал. Через 3 минуты задергался бы засов. «Здравствуйте». Запах углерода. Ну а потом? Нет, я и к Маше не хочу.

Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи, какой черт стихи, — газетные фельетоны!

Идти на улицу, лужи, холодно, не к кому, рожа расцарапана...

Теперь 9 часов. Прочитал Глеба Успенского «Поездка в Сербию» — словно поговорил с умным, чутким, сердечным человеком. Был у меня Доня. Слушал, как я читаю ему Некрасова, спал на моей кровати, пил чай, курил. Он как в воду опущенный. Лишился, бедняга, урока. Маше написал записку. Изложил то, что хотел изложить устно. Я перед нею глупею, и нет у меня слов, нет у меня ничего... Так я лучше письменно... Пойду и стану в точке *a*. Это самое короткое расстояние. Хотя лучше бы в точке *b*. Посмотрю. Как бы Сигаревич не того... На небе вызвездило, ветер большой. Это хорошо. Иначе — туман и гниль. А ведь ей-богу мой дневник похож на дневник лавочника. Какие-то метеорологические заметки, внешняя мелочь...

Ну так что ж? Природой я всегда интересовался (не с эстетической точки зрения, а скорее с утилитарной), а мелочи мне теперь на руку. Довольно я с «крупным» поинститутничал.

«До известного момента!» Она сказала: «До известного момента!» Ура. Стало быть, она не переменила своего решения. Что и требовалось доказать. Половина 11-го. Спать. А письмо мы все же спрячем. Вклеим. И покажем ей в «известный момент». Момент ли? Известен ли?

28 [февраля]. Был у Вельчева. Снег. Когда шел туда в три четверти шестого, у М. горела лампа. Неужели она так рано встает?

1-го марта. Лампа опять горела. Кто у них так рано встает? Ф. наговорила мне дерзостей и глупостей, которых я не заслуживаю. Я всем говорю, что еду, для того чтобы не заподозрили никакой задней мысли. С самым простодушным видом подхожу к каждому знакомому: знаете, я через неделю еду. Куда? В Аккерман... — экзамен держать. Ф. видит в этом профанацию чувства к М. ... М. сказала мне, что она ни за что не скажет Ф., что любит меня. «Она не поймет... Ну, скажите, на каком языке я объясню ей это, чтобы она поняла?» Я согласился с этим и не сказал ни слова Ф-е. Вдруг вчера Ф. говорит мне: «Скажите, как вы относитесь к плану М.?» Кровь бросилась мне в голову. «Неужели это они только условились. Неужели М. сказала ей все?» Оказалось еще худшее. М. ей всего не сказала, а пожаловалась на меня, что я подбегал к ней. Это не годится. Черт знает что может подумать Ф. Я сделал один промах. Говорю ей: «Ф., скажите мне, когда вы уверяли меня, что М. меня не любит, вы уже знали, что это неправда?» Удивленное лицо. «Неужели вы думаете, что она вас любит? Да как вам не стыдно!..»

Милая М., если б только одно слово!..

2 марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.

Позанялся с ним, наведалься к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду — это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошутушкаться, показаться, а не — и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками.

И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви*. Я не со-

гласен ни с одной мыслью Толстого, убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу, — и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цитировать.

«40 лет, — говорю я, — великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова... Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая: „Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно...“, и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот... наконец мы сообразовали вытаскивать руки, чтобы... схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается...» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо...

Т. е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! Если бы я был когда-нб. наверное убежден, что хочу видеть М., хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности, она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной, громадной руке. Но... черт его знает, хочу ли я. Зачем это бывает так редко, что мы не спрашиваем себя ни о чем, а делаем так, как вырвется у нас? Да если б мы имели эту способность. Боже, как бы сильны мы были! Маня Ландесман, Сигаревич, Митницкий — и вообще вся эта дрянь — да ведь они скалы передо мною.

И теперь я не посмеюсь над своею нелепой речью, не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов.

Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, — что я заплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «в моей душе», присутствие, которое делает меня таким глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая... Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. Как? Помоги мне...

Говорю я это и не верю себе ни в грош. Может быть, мне свобода не нужна. Может быть, нужно мне кончать гимназию*, м. б. все это [край листа оторван. — Е. Ч.].

3 марта. Полка книг, — а впрочем... К маю-июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-ниб. в глуби Кавказа, денег бы насобирать и марш *туда*! А чтоб денег насобирать — работать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть... Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», — говорит он через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произносить, ни слышать от

нее таких слов. «Чем я был пьян, вином поддельным или настоящим, — все равно!»* Лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его — и не достигну цели своей — быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. «Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд зоревые огни...»* и т. д. «Все ты *возьми*, в чем не знаю сомнения, в правде моей — *разуверь, обмани*, дай мне...» и т. д. И выше: «Дай мне опять *ошибаться* дорогами!» Вот чего я прошу от всех, от судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход... (Об этом нужно будет сказать Сократу.) Ну так — стало быть, тайна, ошибка. Умышленная ошибка! По условию: ты обманываешь меня, а я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером?

1) Не быть вместе, т. е. занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно... Если можно, даже устроить себе препятствие, т. к. препятствие усиливает желание.

Обедов не устраивать. Домашний обед — фи! Со всем как Клюге с Геккер... Молоко, какао, яйца, колбаса — мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни... Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нб. кофейник — гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга. (Фу, какое скверное слово, опозитизированное, как знамя.) «Дикая утка» — почему муж остается с женой. (Кстати... Был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров — ничего и, когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого

мужика, что в избе много тараканов.) Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще, все лишнее и ненужное! Смешно! Она прямо и сознательно сказала мне: я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы!

3) Нужно заботиться, чтобы жить возможно больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным, чтобы мое желание прочитать эту книгу стало ее желанием, не только потому, что оно мое...

Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нб. таким, чего мы оба в равной мере не знаем. Ну вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с нею проштудирuem так, что только держись. Вообще, этого я не боюсь. Ее «босячество» мне в этом порукой.

Когда я говорю слово «босячество», мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы... Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе — раз, два, — и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обдeldывают свои темные делишки... сбираются в какую-то шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»

И потом идешь дальше и часа два твердишь себе в душе: вороны, вороны.

Вот такое настроение, которое возникает от такой обстановки, у такого человека, в такое время, я и называю «босячеством». (Боюсь, что через год я не пойму этого определения.) Ну, так я говорю, что у Маши

этого босячества — тьма. На него я возлагаю большие надежды. Но тараканы, тараканы... Те самые, что завелись в телефоне чеховского «Оврага»*, вот чего я боюсь. Тот рассказ о тараканах. Сюжет его очень труден, в моем теперешнем изложении он кажется даже неправдоподобным. Но у меня это рассказывается так естественно, так просто, читатель так вводится в круг событий, что под конец — когда героиня убегает — он не то что понимает, а даже чувствует, что и он сделал бы так... Здесь в этом рассказе типично и характерно не действующее лицо, а самое положение. Здесь читатель не воскликнет: «Ах, сколько таких людей я видел вокруг!» — нет, он скажет: «Сколько раз я был в таких положениях! Разве не потому я отдал сына в гимназию, что боялся тараканов! Разве не тараканы помешали мне бросить и ассессорство, и столоначальничество, и винт, и серебряную табакерку на 25-летнем юбилее, разве не от тараканов дочка моя Любочка вышла замуж за... и т. д.»

Не то я говорю... Я иногда через минуту не понимаю своей мысли. Мне хотелось поговорить о типичности положений, а съехал я на разговоры о мелочи житейской (хотя, ей-богу, под тараканами подразумевал кое-что крупнее мелочей). Джером Кл. Джером где-то говорит, что, если ищешь какую-нб. книгу, она всегда оказывается последней. Поговорю об этом потом, а теперь пушу Меланью прибираться, а сам почи-таю.

Только что кончил П. Бурже «Трагическую идиллию». Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами, теперь, одолевая конец, вряд ли бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный,

образованный — Бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным нам досконально, и это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора. Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки, и ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих их движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холодное научное понимание. Притом же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку, он считает своим долгом *объяснять* каждое свое «дерновение»... «Пьер, — говорит он, — поступил так-то и так-то, потому что все натуры такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении напоказ своей художественной лаборатории. Мыслить образами — да разве можно художнику без этого! Да будь ты хоть распрямленный человек, но, если ты не можешь познать вещь иначе как через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах... Сколько ума, наблюдательности вложил Бурже в свой роман... Каждое слово его — показывает необыкновенную вдумчивость, каждое лицо его — как живое стоит перед нами. Но жило оно до тех пор, как Бурже ввел его в свой роман, чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, а пустил их на свободу жить — он не сумел стать в стороне от них да и смотреть, что из этого выйдет.

Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и т. д. Поневоле вспоминается наша «Анна Каренина», это дивное окно, открытое в жизнь. Не-

смотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который сталкивал их, как было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь!..

А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Эли высморкала нос в четверг, а не в пятницу, сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня посочувствовать этой бедной, оскорбленной женщине... жалких слов, которые так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, холеная, — но и только.

Теперь у нас все идет к весне, хотя все мы упорно держим в голове, что март бабу заморозил. Март — самый капризный месяц. И настроение у людей в марте по сорок раз в день меняется... А неизменным остается одно: чувство недоверия, подозрительность, мнительность. На дворе солнце, подле Вельчева травка, а в голове «замерзшая баба». Вот месяц, когда царь Давид мог бы и скинуть свое кольцо с надписью «все проходит» (если ношение его было, конечно, неудобно)... Стоило ему глянуть в окно. Вон у меня в окно видно горничную Косенко. Стоит в платочке, замечталась, в небо глядит. И чувство чего-то необычного и в этом стоянии, и в этом мечтании — как-то весе-

СОДЕРЖАНИЕ

1901	5
1902	57
1903	79
1904. Англия	83
1905	136
1906	150
1907	174
1908	179
1909	188
1910	197
1911	209
1912	216
1913	225
1914	234
1916	253
1917	257
1918	288
Вот уже 1919 год	303
1920	369
1921	411
От публикатора. <i>Е. Чуковская</i>	497
Комментарии	504
Указатель имен	549